

Валерий Казаков



**ТЕНЬ УЛЕТАЮЩЕЙ  
ПТИЦЫ**  
повесть

Валерий Казаков

**Тень улетающей птицы. Повесть**

«Издательские решения»

**Казаков В.**

Тень улетающей птицы. Повесть / В. Казаков —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903718-3

Эта книга о том, как росло и взрослело первое послевоенное поколение. Как монолит советского общества стал рассыпаться на части, когда прорастали в душе первые всходы сомнений, когда настоящая свобода кружила голову, манила, но ещё не могла оформиться в реальную жизнь.

ISBN 978-5-44-903718-3

© Казаков В.  
© Издательские решения

# Тень улетающей птицы

## Повесть

**Валерий Казаков**

© Валерий Казаков, 2018

ISBN 978-5-4490-3718-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я только что проснулся. Я ещё не успел освоиться в светлой земной реальности, когда в мою комнату ворвался старший брат Миша и прямо от порога закричал: «Журавли прилетели!» Я спрыгнул с постели в одних трусах и, не ощущая холода, не задавая лишних вопросов, побежал за ним на берег Вятки. Там, на высокой глинистой круче, мы остановились, и стали всматриваться в небесную синь, что раскинулась над зелёным островом за рекой. Но журавлей нигде не было видно. В это время где-то у меня за спиной Миша вновь произнес: «Они над нами. Смотри».

Я запрокинул голову вверх и увидел там медлительно парящую пару непривычно больших, серых птиц. Они проплывали в небе так же, как проплывают облака. Они были, кажется, совсем рядом, но их голоса доносились откуда-то издалека, из какой-то другой, загадочной и непонятной нам жизни, которая объединяет людей и птиц, где оживают призраки, где соседствуют реальность и вымысел.

Журавли улетали всё дальше, всё тише становились их голоса. Вот они уже над кромкой леса, у самого горизонта. Ещё мгновение – и они исчезнут навсегда.

– Улетают, – шепчет им вслед мой брат.

– Может быть ещё вернутся, – отвечаю я.

Какое-то время мы ещё стоим на берегу, глядя вдаль, потом разочарованно вздыхаем и, молча, направляемся обратно к нашему дому, крыша которого темным айсбергом возвышается над зелёным морем яблоневого сада.

Дома нас ждет Маруся – большеглазая, смуглая девочка, которая приходит к нам каждый понедельник, чтобы поиграть с моим младшим братом Володей. Она очень тонкая, робкая и удивительно гибкая. От неё пахнет солнечным сухим теплом. Мы вместе прыгаем с дивана на пол, и нам это занятие кажется необыкновенно интересным. У Маруси крупные синие глаза, затенённые густыми серыми ресницами, тёплые руки и гладкий лоб в крохотных капельках пота, похожих на изморось. В полете подол её платья надувается, как колокол, а глаза весело блестят. И невозможно представить, что уже через год эта девочка утонет у нас на глазах, что никто не успеет её спасти, потому что она окажется слишком далеко от берега. Всё произойдет как-то очень стремительно и неожиданно, как все роковое и непоправимое в этой жизни...

Но это будет потом. А потом – это страшно далеко. Дальше, чем от земли до неба, дальше, чем от линии сада до линии горизонта. Потом – это где-то в другой жизни, которая ещё не наступила...

\*\*\*

С раннего детства я имел крепкое и выносливое тело, но почему-то никогда его не чувствовал, не ощущал, не обращал на него внимания. Жил, воспринимая мир непорочной душой, каждый день открывая его заново, находя в нем что-то новое. Этот внешний мир

казался мне ярким, теплым и огромным. Его невозможно было ни увидеть весь сразу, ни запомнить, ни понять. Он приходили откуда-то извне: из лесной синевы за садом, из белых облаков и бездонного неба.

Помню, в том далеком от реальных проблем возрасте я очень боялся темноты. Зная это, мои старшие братья систематически проделывали со мной следующий номер. Они оставляли меня в пустой гостиной одного, запирали дверь на ключ и начинали кричать самое ужасное, что только можно было представить: «Коко идет! Он тебя съест»... От этих слов мне делалось очень страшно, я закрывал лицо руками и плакал. Мне казалось, что мерзкий «Коко» уже где-то рядом. Он черный и волосатый, как кужель из овечьей шерсти на бабушкиной прятке. Он подойдет сзади и задушит меня своими шерстистыми, тонкими пальцами. Сначала задушит, а потом съест. Причем, если только задушит, то это не страшно. Страшно, когда съест, когда от тебя ничего не останется.

Но ужасным был не только «Коко – кужель». Ужасной была ещё и бабка Алевтина, которая жила где-то на соседней улице и ходила к сельповскому магазину, скрипя деревянным протезом вместо ноги. Она тоже могла появиться в темноте и напугать до полусмерти. Об этом страшными голосами предупреждали братья за дверь: «Алевтина идет. Она забрет тебя к себе и спрячет в подполье».

А ещё мог напугать бородатый садист Карабас Барабас, страшным бичом истязующий невинную девочку Мальвину. «Коко – кужель», Алевтина и Карабас Барабас ждали того момента, когда я попаду в тёмную комнату, чтобы напасть на меня и вдоволь надо мной поиздеваться...

Слава Богу, заточенье мое чаще всего длилось недолго. Лишь до той поры, пока я безутешно плакал и просил о пощаде, пока умолял выпустить меня на свободу. Но, как только плач прекращался – братьям становилось скучно, и они одним поворотом волшебного ключа в реальной замочной скважине прекращали мои мучения.

Оказавшись на свободе, я грозился рассказать обо всём маме, чтобы она, как следует, наказала моих истязателей. Мама хотя и добрая, но от неё пощады не жди. Ремнём она орудует не хуже, чем сказочный Карабас Барабас. И мои братья хорошо об этом знали. Они просили меня ничего маме не говорить, тогда они научат меня стрелять из «поджиги».

В том возрасте, о котором идет речь, я ощущал себя исследователем и следопытом. Но настоящими исследователями были мои старшие братья. Они раскручивали и разламывали, купленные нам игрушечные автомобили. Они разобрали старое радио и черный бабушкин граммофон, который случайно нашли на чердаке. У нас тогда не было газовой плиты, поэтому мы разбирали керогазы, примусы и перегоревшие электроплитки. Почему-то нам было очень интересно узнать, что находится у этих предметов внутри. Как они устроены? Из каких деталей состоят?

Обычно это происходило где-нибудь в укромном месте, за санным сараем или под раскидистыми кленами возле старой бани. Разбирал кто-нибудь один, а все остальные заинтересованно и заморожено наблюдали, давая полезные советы, как лучше открутить ту или иную гаечку, куда и чем лучше ударить, чтобы выбить заклепку или болт.

Постигать таинственную суть окружающих нас предметов было весело и занимательно. Перед этой тягой невозможно было устоять. Причем, чем сложнее был предмет, тем больше была тяга. Так что можно представить, с какой своеобразной заинтересованностью мы поглядывали на, манящий лакированными боками радиоприемник под названием «Латвия – М», который играл и пел у отца на конторке, а также на бабушкину швейную машину марки «Зингер». Разобрать на части эти сложные предметы было нашей мечтой. Старший брат, Миша, уверял, что из швейной машины вполне можно сделать игрушечный паровоз. Однажды я пригляделся к ней повнимательнее и понял, что в её облике действительно есть что-то от паровоза. А что может быть занимательнее настоящего железного паровоза вели-

чиной с деревянную лошадку, который сам мчится по рельсам, с шипением проскакивает через крохотный мост в виде арки, делает по комнате круг и возвращается обратно.

\*\*\*

В детский сад всегда за руку, и всегда своими тайными тропами меня водила Нянька. Так мы называли небольшую сухонькую старушку, которая жила в нашей семье с незапамятных времен. Она всегда была рядом, всегда казалась мне старой и некрасивой, одетой во что-то бесформенно-тёмное. Нянька не читала нам книг, не рассказывала мудрых сказок, не пела колыбельных песен перед сном, но при этом всегда была где-то поблизости. Она заботилась о нас, оберегала, присматривала, как могла, и при этом ещё успевала помогать матери по хозяйству: полола гряды, окучивала картофель, собирала в саду спелые ягоды.

Позднее я узнал, что у неё была какая-то тяжелая душевная болезнь, не позволившая ей создать свою семью. Но тогда, в раннем детстве, этого совсем не чувствовалось, тогда это не имело никакого значения. Для нас она была такой же, как все. Единственное, что отличало её от всех остальных взрослых людей – это необыкновенная набожность. Утром и вечером она усердно молилась, стоя перед образами на коленях и держа в руке зажженную свечу.

В разговоре она никогда ни на кого не повышала голоса, никогда не жаловалась на свою судьбу, но при этом производила впечатление замкнутого человека, причастного к какой-то тайне, которая её возвышает. Теплыми летними вечерами она поднималась на чердак, маленьким блестящим ключом открывала огромный пыльный чемодан, который хранился там с незапамятных времен, и с любовью смотрела на семейный портрет Николая второго и его жены, который лежал в чемодане сверху. На портрете молодые супруги были так красивы и так молоды, что глаз не возможно было оторвать. Но, услышав чьи-либо шаги, она тут же прятала портрет обратно в чемодан и поскорее спускалась вниз с полными слез глазами. Что связывало её с этим портретом, и как он к ней попал, для нас осталось тайной.

Нельзя сказать, что мы очень любили её. Наша Нянька никогда не улыбалась и не пыталась нас развеселить, но когда она брала меня за руку и вела к реке, подсказывая, где надо перешагнуть через канаву, где обойти глубокую лужицу, – я чувствовал в её ладони материнскую заботу и тепло. В её глазах всегда было что-то тайное и непонятное, в движениях – излишняя суетливость, в голосе – старческое недовольство, похожее на брюзжание, но даже в самом сложном положении она никогда не переходила на крик – только обиженно вздыхала и начинала что-то шептать, вскидывая руку для крестного знаменья: «Господи, прости им все прегрешения, ибо не ведают, что творят».

Когда мы собирались на прогулку, Нянька предупредительно подавала нам большие фетровые фуражки, чтобы голову случайно не напекло, советовала не приближаться близко к реке, осторожно переходить через дорогу. А когда мы возвращались с улицы – заставляла тщательно мыть руки. Она всегда была рядом, всегда готова была прийти на помощь, и, наверное, поэтому мы её как бы не замечали, не обращали на неё внимания. Нам почему-то казалось, что так будет всегда. Всегда будем мы, братья Арматуровы, будет старая Нянька, наблюдающая за нами любящими глазами, будут строгие и упитанные родители, веселые друзья; будет бездонное небо и красивые птицы, проплывающие в нём с севера на юг.

\*\*\*

Наш детский сад располагался в бывшей староверской молельной и имел вид большого барского дома, со всех сторон утопающего в густой зелени берез. Самой привлекательной частью его внутреннего убранства стали для меня большие дубовые двери, соединяющие две половины этого здания в одно целое. Двери были высокие, украшенные искусной резь-

бой и покрытые тёмным лаком. Они открывались по большим праздникам, когда все группы соединялись в одну шумную компанию. Только много позднее я узнал, что это были самые настоящие «царские врата», что слева от них располагался когда-то иконостас. Пожалуй, именно эти двери подарили мне первую встречу с настоящим художественным произведением. Они для меня открылись в мир искусства, в загадочный мир настоящей гармонии. К тому же за ними располагался просторный зал старшей группы, стены которого были увешаны репродукциями с картин известных русских мастеров, таких как Репин, Серов, Врубель и Шишкин.

Сейчас я склонен думать, что так бывает всегда. Так бывает у каждого, потому что к настоящему искусству не пройти по иному пути – мимо «царских врат». Ибо всё остальное – ложь, всё остальное от лукавого...

И всё же летние дни в детском саду тянулись томительно долго. Этот ритуал правильной, в деталях продуманной жизни, вскоре стал меня утомлять. До обеда я ещё кое-как справлялся с надоедливой скукой, а после обеда уже не знал, куда себя деть. Чем заняться?

Я рано привык чувствовать себя свободным, и это чувство постепенно переросло в потребность. Ради свободы я мог пожертвовать всем. А в результате – мне не хотелось спать, когда кто-нибудь этого требовал слишком настойчиво. Не хотелось гулять там, где неинтересно. Мне не хотелось разучивать вместе со всеми глупые детские песенки и правила этикета. Настоящая свобода в моем понимании сливалась с природой, с летом, с густыми зелёными зарослями, похожими на Южно – Американскую сельву, когда можно ходить, куда вздумается, делать, что хочешь. Когда никто ни в чем тебя не ограничивает.

Из многочисленных детсадовских строений особенно хорошо мне почему-то запомнился холодный туалет. Однажды в этом туалете я встретил долговязого мальчика из старшей группы, который спросил меня, видел ли я когда-нибудь девочек, сидящих на горшках? Я ответил, что мне такого наблюдать не приходилось. Тогда он со знанием дела стал уверять меня, что это очень интересно и ради этого стоит принести из дома перочинный нож, чтобы вырезать небольшую дырку в перегородке между женской и мужской половинами. И хотя нож в детский сад я не принес, эта таинственная дырка каким-то образом вскоре появилась. Честно скажу, я в неё никогда не смотрел. Не мог понять, что может быть интересного в девочке, сидящей на горшке.

В том возрасте, о котором я говорю, мне почему-то нравилось наблюдать за девочками в расстроенных чувствах. Особенно за одной, которую звали Олей. Я хорошо помню, что на Олиной белокурой голове всегда цвели два розовых банта, в глазах играли веселые огоньки, а полные губки были сложены так блаженно и тепло, что очень хотелось к ним прикоснуться хотя бы мизинчиком. Оля уже тогда была красивой, и это почему-то раздражало самых нахальных мальчишек. Её длинной косе то и дело доставалось от них. Когда Оле было больно, она опускала голову в маленькие пухлые ладони и начинала беззвучно плакать. А когда она плакала, стремление прижать её крупную голову к своей горячей щеке было настолько сильным, что я отворачивался и убегал.

Потом мне становилось интересно узнать, перестала ли она плакать. Но этого момента я никогда не замечал. Когда я возвращался (через каких-нибудь пять минут), она уже всю беседовала с подружками.

Иногда Ольга мельком, как бы вскользь, поглядывала на меня, и при этом её густые, тёмные ресницы взволнованно вздрагивали, как могут вздрагивать крылья бабочки, готовой взлететь. Ольга изо всех сил старалась показать, что не замечает меня, но по тому, как упорно она это делала, как по-детски демонстративно, – я понял, что нравлюсь ей. Я понял, что между нами когда-нибудь может возникнуть что-то такое, что взрослые называют любовью... Но любить по-настоящему было стыдно. Любовь была тем запретным чувством, которое обнажает стыд.

За Ольгой каждый вечер в детский сад приходили красивые молодые родители. Мама в длинном шелковом платье цвета морской волны и папа в тёмном костюме. Взяв её за руки, они плавно удалялись, уплывали по густой березовой аллее, попадая при этом то в яркий свет, то в ажурную тень. Потом сворачивали налево и исчезали за густой, непроглядной стеной неподвижных сиреней, которые после цветения казались некрасивыми и ненужными, как засохшие цветы в стеклянной вазе.



Дни тогда были удивительно длинными. И после ухода Ольги время ещё долго и скучно тянулось, то прячась в омуте сумерек, то наполняясь неожиданными звуками. И никогда ничего в этом времени не повторялось вновь – всё было в первый раз, так, как не случалось раньше ни у кого на этой земле.

Даже за каждым поворотом моей дороги домой могло скрываться что-нибудь новое.

Например, однажды я встретил на ней необыкновенно яркого деревенского петуха, внезапно возникшего передо мной из могучей заросли рослых репейников возле дороги и поразившего меня своим воинственным видом. Потом мимо меня прошел огромный вислоухий пес с белым пятном на тёмной груди. Подобные встречи и открытия были на каждом шагу. Наверное, в этом и состояла вся прелесть детского возраста, вся магия особого взгляда на мир, которым невозможно было пресытиться. Этот мир менялся и удивлял меня каждый день. И каждый день он был другим.

\*\*\*

Подходил к концу последний год моего пребывания в детском саду. Год, надо сказать, очень легендарный. В этом году первый советский космонавт полетел в космос, погостил там в черной безжизненной мгле, и вернулся обратно на зелёную землю, где тут же был обласкан жаркими лучами неслыханной мировой славы.

В этом же году утонул в пруду Луговской мельницы Гришка Шмон – гроза наших деревенских улиц. Его долго искали неповоротливые водолазы в медных шлемах, и когда нашли, мы все были поражены, как страшно (до неузнаваемости) пополнил Гришка за эти три дня, как поразительно изменился. И примерно в это же время я познакомился с первым в моей жизни настоящим другом. Им стал русоволосый и худой мальчик Сережа с соседней улицы, на которую можно было попасть, пройдя вдоль изгороди до обгоревшей сосны, а потом свернув направо к одинокому тополи, затеняющему начало узкой тропинки через небольшой овраг.

Сережа был меньше меня ростом, но зато в кармане сатиновых брюк он всегда носил спички, умел смачно материться и плевать так далеко, что сразу же покорила меня этой

необыкновенной способностью. Сережа вошел в мою жизнь как-то незаметно и буднично, как входит вода в пересохшую землю. Это произошло в августе, когда придорожная полынь становится жесткой, как проволока, а цикорий, наконец, зацветает неожиданно ярко, осыпая обочины полевых дорог крупными синими снежинками.

Я, помнится, мастерил из обрезка доски деревянный самолетик, сосредоточенно работал ножом и не заметил, когда позади меня из зарослей одичавшей вишни появился Сережа. Он нерешительно подошел ко мне и протянул свою тонкую руку.

– Здравствуй!

– Привет, – смущенно отозвался я.

– Чем ты тут занимаешься? – разглядывая мою бесформенную поделку, спросил Серёжа.

– Самолет делаю.

– И этот самолет будет летать? – снова спросил он с явной иронией в голосе.

– Как птица.

– Что-то не верится, – усомнился мой будущий друг.

Говоря это, Сережа сунул правую руку в карман брюк и с деловитой непосредственностью стал что-то там отыскивать. Потом он спросил, чей это дом у меня за спиной, чей нож у меня в руке? И я не без гордости ответил, что в этом доме я живу, а нож мой личный, он складывается и помещается в кармане сатиновых брюк. Такой нож можно всегда носить с собой, с ним ничего не страшно.

– Я вырасту большой и куплю себе такой же, – пообещал Сережа, – А, может быть, даже лучше: с отверткой и штопором, как у моего дяди Николая, который в городе живет. У него нож пластмассовый и вот такой большой.

Сережа даже вынул руки из карманов, чтобы показать, какой большой нож. «Совсем такой, как сабля», – подумал я, но ничего ему не ответил.

Потом Сережа показал мне, как бесстрашно он может прыгать с забора в самую гущу крапивы, как ловко он лазает по деревьям, как высоко пускает струю из промежности на сухие доски сарая, и я понял, какого удивительного мальчика я встретил.

– А ещё я умею материться. И надувать белые шары, которые по утрам выкидывают на помойку наши соседи.

– Какие соседи? – не понял я.

– Молодожены. Хочешь, я надую тебе один? У меня где-то в кармане затерялся. Он грязный был, я его в луже вымыл и вот сейчас надуваю.

Я сделал вид, что не расслышал его. Мне почему-то не хотелось, чтобы он это всё сейчас же продемонстрировал.

Позднее я заметил, что Сережа меньше всего заботится о своей внешности. Он был всегда довольно неряшливо одет. Всё лето ходил в каких-то очень больших резиновых сапогах и темной фланелевой кепке, а его рубаха чаще всего была расстегнута до самого пупка и завязана там обыкновенным узлом. В просвете между полами рубахи торчал загорелый Серёжин живот.

Часто Сережа куда-то спешил, от кого-то прятался, кого-то боялся. Уверял, что за ним следит его сестра Зина, у которой кулаки, как булыжники, и если он при ней начнет материться – она ему голову оторвет. А если заметит руку под резинкой, за ухо оттаскает, как следует.

Наша дружба с Серёжей началась незаметно, примерно так же, как начинается взрослая жизнь. Сережа приходил ко мне каждый день по мокрой от росы лужайке и приносил в мою комнату свежий запах луговой травы. В белесой низине за садом после этого ещё долго можно было видеть синеватую полоску его следов. А после того как он увидел и по достоин-

ству оценил мою первую акварель, когда, не морщась, съел небольшой кусочек самой вкус-ной, на мой взгляд, сухой желтой краски, – я разглядел в нем настоящего друга.

\*\*\*

На следующий день Сережа был у меня. Какое-то время стоял в дверях, переминаясь с ноги на ногу, а потом подчеркнуто равнодушно пояснял:

– А я в поход собрался. Вот зелёного луку взял в огороде, хлеба и соли. Лето кончается, а я ещё в поход не ходил никуда.

– Куда идти-то у нас? – сонно поинтересовался я. – Лес кругом.

– В рожь, – ответил Сережа уверенно. – Я всегда по ржи путешествую.

– В какую ещё рожь?

– Которая за садом растёт, – пояснил он. – Она там такая высокая, что в ней даже можно заблудиться.

– Во ржи? – усомнился я.

– Конечно, – подтвердил Сережа.

– Ну, давай сходим тогда. Только у меня компаса нет.

– И не нужно, без него даже интереснее...

Путешествие по ржи началось очень буднично. Я взвалил на плечи просторный рюк-зак со снедью где-то на самом дне и шагнул с ним за линию сада, которая по всему пери-метру была отмечена высоченным репейником и зубчатой крапивой. Сережа последовал за мной. Стена желтеющей ржи пропустила нас. И тут же для меня исчезли все привычные ориентиры: дом, сарай, коренастый дуб возле погреба, поставленные нарасшарагу, бетон-ные столбы вдоль дороги. Я понял, что наше путешествие действительно может получиться интересным.

До первого привала мы шли минут тридцать и много при этом говорили. Восхищались синим небом над нашими головами, которое стало вдруг таким далеким и таким бескрайним, любовались огромными облаками, которые лениво проплывали на запад. Нам было хорошо и вольно. Заросли ржи казались нам настоящими джунглями, и разочаровывало в них только отсутствие диких зверей: львов и тигров. В детстве мне почему-то очень нравились тигры. Тигры были полосатые, добрые и сильно походили на обычных домашних кошек с длин-ными хвостами и цепкими лапами...

Потом подошло время обеда, и обычный черный хлеб с луком показался нам таким вкусным, что просто трудно передать. Даже сейчас, когда я пишу об этом, мне хочется поло-жить в рот черствую корочку черного хлеба, щедро сдобренную солью, изучить языком её податливую, слегка кисловатую шероховатость, откусить кончик зелёного сочного лукового пера и медленно, не спеша, разжевать всё это, обильно купая в слюне.

Но исчерпался запас еды, запас новостей, которыми стоило поделиться, и сразу нам с Сережей стало скучно. Ни Сережа, ни я толком не знали, что нас ждет в конце этого путе-шествия. Куда мы идем, к чему стремимся? Поэтому вскоре мы стали останавливаться чаще. Наконец, устало сели на землю. Пора было поворачивать назад.

– Наверное, надо возвращаться, – неуверенно предложил я.

– Рано, – тут же откликнулся Сережа, – мы ещё не дошли до конца поля.

– А что там?

– Овраг.

– Ну и что?

– Там речка течет, а в ней пескари. Много-много.

– Да ну его! И речку, и овраг.

– Тут уже недалеко. Уже близко. Может, там ещё и ягодник какой есть. Ежевика или малина.

– Малину уже выбрали давно, – недовольным тоном парировал я.

– Это за огородами выбрали, а в овраг никто не заходит. Боятся, – пояснил Сережа. – Там волчье логово, и... старый экскаватор брошен. И труба по берегу идет ржавая, которая осталась от поливальной машины. Если в неё крикнуть, то голос до самой реки добежит... Там всего много. Экскаватор можно разобрать и сделать из него подъемный кран. А трубу на крышу приспособить вместо дымохода... Да и волчата тоже пригодятся. Они злые. Могут дом охранять, если приручить.

– Значит, надо идти.

– Конечно.

После отдыха идти стало легче. Мы приближались к оврагу, наш путь лежал под уклон, ноги это чувствовали, но самого оврага почему-то ещё не было видно. Солнце уже палило вовсю. В зарослях ржи стало душно. Её стебли хватали за ноги, цеплялись за брюки, неприятно покалывали то тут, то там, но до конца путешествия было ещё далеко.

Правда, через какое-то время мы всё-таки вышли к незнакомому ветхому сараю с покосившейся крышей. От сарая осторожно пошли вдоль выгоревшей на солнце белесой изгороди, к темнеющим на пригорке яблоням. Увидели там чей-то высокий дом на кирпичном фундаменте, рядом с ним – тополя, сухо шелестящие мелкой листвой. Нырнули в прореху забора, пробрались сквозь заросли одичавшей вишни и вышли на незнакомую улицу, по которой ленивым увальнем разгуливал лохматый рыжий пес с глазами мудрого зверя, не обративший на нас никакого внимания.

– Где это мы? – шепотом спросил Сережа, глядя на меня снизу вверх.

– Не знаю, – ответил я, удивленно вертя головой.

– Я здесь никогда не был. А ты?

– Я тоже.

Незнакомая улица имела вид деревенских задворков, некоего тупика, поросшего густой, немятой травой. Все дома на этой улице были из красного кирпича, с глубокими, хорошо пробеленными проемами для окон, с высокими воротами во двор, с тёмным скопищем хозяйственных построек рядом. Только людей на этой улице почему-то не было видно.

– Может быть, мы попали в коммунизм? – предположил Сережа:

– По радио говорят, что его где-то уже построили. Может быть, здесь?

– Давай пройдем эту улицу до конца и поглядим, – предложил я.

– Давай, – ответил Сережа. – Только мы ведь не знаем, какой он. Может быть коммунизм страшный. Или там никого нет.

– Говорят, там всё есть: и колбаса, и масло, и пельмени. Если мы попали в коммунизм, то мы это непременно почувствуем, – уверенно ответил я.

И мы пошли: сначала под кронами тополей, в их густой, узорной тени, потом по пыльной траве, потом по желтоватой тропинке, посыпанной гравием, которая тонкой змейкой протянулась от начала улицы до оврага. Через овраг в том месте, где обрывалась тропинка, был перекинут небольшой деревянный мосток, выстланный гладкими сухими жердями.

Вопреки нашим ожиданиям, за оврагом началась ещё одна улица, застроенная приземистыми и длинными брусковыми домами похожими на бараки. Вскоре от одного из этих домов очень вкусно запахло жареным луком и ещё чем-то мясным и аппетитным. Нас сразу же потянуло именно к этому дому. Над его крыльцом висела нехитрая вывеска. Красные буквы на ярко-желтом фоне гласили: «СТОЛОВАЯ».

– Я никогда не был в столовой, – признался Сережа.

– Я тоже.

– Тогда, может быть, зайдём? – предложил он.

– У нас денег нет.

– А у меня есть немного, кажется, – неуверенно признался Сережа и стал проверять свои карманы. – Мне мамка вчера дала на хлеб. Я пришел в магазин, а хлеба там уже нет. Весь раскупили. Вот деньги и остались.

И Сережа показал мне настоящий бумажный рубль, сильно помятый с боков и просвечивающий насквозь.

– Как ты думаешь, на него что-нибудь здесь дадут? – с некоторым сомнением спросил он.

– На бумажный рубль и при социализме давали, – уклончиво ответил я.

– А пельмени?

– Наверное, дадут и пельмени.

– Я только пельменей хочу.

Мы обогнули тёмно-зелёный лесовоз, застывший перед столовой в огромной луже, и вошли в высокий просторный зал, где за приземистыми столами, полными самой разнообразной еды, сидели незнакомые люди. Их лица были просты и спокойны. Они вполголоса о чем-то переговаривались, улыбались, лениво допивали парящийся в стаканах чай и с безразличным видом смотрели на картины, развешанные по стенам, на фикус в дальнем углу.

– Нам две порции пельменей, – попросил Сережа у женщины в белом халате, возникшей где-то между прилавком и потолком.

– И больше ничего? – ответила она, слегка согнувшись.

– А что ещё у вас есть?

– Суп. Щи и рассольник.

– Нет... Нам хлеба ещё по куску и... чаю, если можно.

– Ну, тогда с вас шестьдесят восемь копеек.

– А это сколько? Это не больше рубля?

– Нет.

– Ну, тогда нам ещё лимонаду бутылку и... и булку с маком,

и...

– Всё, мальчик. Рубль не резиновый, – сухо перебила его женщина в белом халате.

Но всё равно это был замечательный обед. Мы с аппетитом ели горячие пельмени и восторженно смотрели по сторонам. Нам всё здесь нравилось: и фикус в углу, и косой солнечный свет из окна, и красочные натюрморты по стенам, и жужжание одиноких мух где-то под потолком, там, где развешаны желтые ленты липучек, напоминающих новогодний серпантин. Мы ещё ели, ещё наслаждались видом аппетитных натюрмортов, а нам уже очень хотелось вернуться в эту столовую ещё раз... Вот только найдем ли мы сюда дорогу в густых ржаных зарослях, в этом бескрайнем поле социализма, которое начинается за селом, а кончается где-то за горизонтом в хрустальной пустоте.

Жизнь здесь, в этом затерянном селе, казалась нам неспешной, размеренной и сытной. То есть, примерно такой же, какой она должна была стать при коммунизме. В светлом будущем. В счастливом завтра.

\*\*\*

Тропинку назад мы нашли довольно быстро. Высокие стебли ржи в том месте, где мы недавно прошли, ещё не успели выпрямиться, и поэтому желто-зелёная стена поля тут была заштрихована ими не снизу вверх, а слегка наклонно. Вначале мы припустили по ржи бегом, но вскоре выдохлись и стали всё чаще с надеждой поглядывать по сторонам, ожидая увидеть привычные нашему глазу ориентиры: вершины тополей за огородами, или макушку полу-

разрушенной церкви, или колхозный гараж с пожарной каланчой на крыше, где постоянно сидит пьяный сторож Савелий Федорович...

Вечерело. Справа и слева от нашей тропинки уже стрекотали кузнечики. Медленный летний закат золотил небо. Стая каких-то мелких птиц прошелестела над нашими головами быстрыми крыльями, потом где-то недалеко прогудел трактор.

И тут меня осенило. Я ткнул Сережу в бок и предложил:

– Встань мне на спину и посмотри, где он едет. Там должна быть дорога. Мы выберемся на дорогу и по ней придем домой.

– Точно, – радостно отозвался Сережа. – Как это мы раньше не догадались...

Он тут же вскарабкался мне на спину, повертел головой туда-сюда и сказал, что дорога находится рядом. Оставалось только выбраться на неё. Впрочем, эта дорога из пельменного рая в наше обычное настоящее была много короче той, по которой мы продвигались утром. К тому же, она оказалась довольно пыльной и ухабистой...

Через полчаса мы были дома. Но перед тем, как расстаться поклялись, что никогда никому не расскажем о нашем путешествии, а когда у нас появятся деньги, обязательно вернемся туда и отведаем всего – всего, чего только душа пожелает, и посидим под фикусом, и картины как следует разглядим, и душистого лимонада напьемся до отвала.

– А завтра, – спросил Сережа.

– А завтра пойдем искать клад в развалинах старой часовни. Вот найдем этот клад и сразу станем богатыми.

Не так давно в заброшенной часовне мы обнаружили ход, который уходил куда-то глубоко вниз и был в ширину сантиметров тридцать. Сначала мы посветили туда фонариком. Его тонкий луч уперся в кирпичную кладку древних, отсыревших от времени стен, потом – в темный пол и странное возвышение на этом полу, напоминающее большой железный сундук. Стало ясно, что там под фундаментом часовни находится какое-то тайное помещение.

– Там, наверное, клад, – тут же шепотом поведал мне Сережа. – Где же ему и быть, если не тут.

– Тогда надо спуститься туда и посмотреть, – нашелся я.

– Надо бы, – согласился Сережа.

Луч фонарика снова скользнул по кирпичной кладке и каменному полу, и Сережа продолжил:

– Только мне туда не пролезть. Узко.

– А мне – тем более. Я здоровее.

– Что же делать?

– Надо ход немного раздолбить, – посоветовал я. – Чтобы плечи прошли. У тебя они узкие.

– Долбить так долбить, – нехотя согласился Сережа.

Мы сходили домой за нужным инструментом и работа началась. Часа полтора мы усердно крошили ломом влажный кирпич, расширяя лаз. Работа шла медленно, наши ломы то и дело скользили вдоль стены, высекая из неё желтые искры и норовя вырваться из рук. Но желание поскорее увидеть клад было сильнее. Тайно мы полагали, что сейчас решается наша судьба. Станем мы богатыми, будем каждый день есть горячие пельмени или продолжим за всякий медный пятак из родительских рук гнуть спину в огороде, пропалывая гряды и окучивая картофель.

И вот, когда всё уже было готово, когда Сережа уже попробовал просунуть в широкий лаз свою голову, чтобы получше рассмотреть, что там находится, – позади нас вдруг раздался громкий старческий голос:

– А вы чего тут делаете, поганцы?

Мы испуганно оглянулись назад, и увидели за спинами, на светлом фоне дверного проёма бывшую монахиню, очень древнюю старуху Варвару Илларионовну Ларину. Она сутуло стояла в дверях часовни в своём обычном тёмном платье до пят, в синем батистовом платке и грозно смотрела на нас своими большими цыганскими глазами.

– Сначала мраморные плиты на кладбище раздолбили у всей моей родни, а сейчас, значит, до семейного склепа добрались. Я вот вам покажу! Я вот вам устрою сладкую жизнь! Нигде от вас спасенья нету... Чтобы ноги вашей здесь больше не было! Слышите, поганцы! Чтобы...

Последние её слова мы уловили уже, скорее, не ушами, а изогнутыми спинами, изо всех сил работая ногами...

После этого случая с Варварой Илларионовной мы старались не встречаться. Как только замечали её тёмную фигуру где-нибудь впереди, так сразу пытались свернуть в ближайший переулок или заскочить в пустующий двор. Варвара Илларионовна внушала нам странный трепет. Она была отголоском той жизни, которая закончилась в России много лет назад и больше никогда не вернётся. Никто этого не хотел. Говорили, что эта страшная старуха – последний отпрыск какого-то дворянского рода, который рассеяла по свету Октябрьская революция. Что она двадцать лет провела в Томских лагерях, но не сломалась, не утратила веру в Бога, и ни на кого не держит зла... Но однажды она каким-то образом выследила нас. Схватила обоих за руки, присела рядом на корточки и, неожиданно ласково глядя в глаза, сказала:

– Попались, кладоискатели! – Немного помолчала и продолжила: – Эх, забили вам головы в вашей школе разной дурью. Вот вы и ищите клады по всей земле. И всё не там, где нужно. А ведь клад-то настоящий он – в голове. Вот в этой, цыганской, курчавенькой и в этой, белобрысой. Бог даст терпение, умные люди знания дадут – вот вам и клад на всю жизнь. Никто его не отберет, – сказала она и отпустила нас с миром.

Мы после этого долго стояли и смотрели на неё с недоумением, ожидая положенной в таком случае плюхи. Но так ничего и не дождалось. Вечером я убрал на свое место лом, кирку и лопату до той поры, пока интуиция или случай не подскажут нам, где копать.

\*\*\*

После памятной встречи с Варварой Илларионовной Сережа не приходил ко мне два долгих, почти бесконечных, дня. В первый день с самого утра шел дождь. Небо и облака были одного цвета – цвета молочной сыворотки. С крыши капало, а когда дождь припускал, необычный шум усиливался, закипал, как вода в самоваре, и заглушал всё вокруг, закладывал уши.

От нечего делать я подолгу сидел в спальне возле окна и смотрел в сад на подвижную, шумно шелестящую листву, на резко обозначившиеся, тёмные от влаги ветви сирени и белесые, вывернутые ветром наизнанку, листья малины. Меня не покидало ощущение сонной грусти и томительно-бездеятельной задумчивости. Душа ждала чего-то неожиданного, чего-то яркого. И если вдруг сквозь плотную пелену облаков пробивалось солнце и, вся залитая влагой, помолодевшая зелень начинала изумрудно искриться и вспыхивала до боли в глазах, – то мне казалось, будто душа ждала именно этой вспышки, потому что после неё сердце переполняло восторг. Так могла поразить только природа, только то, что очень трудно описать словами...

Потом был понедельник, то есть тот день, когда нужна было настраиваться на длинную детсадовскую неделю с коллективными играми, коленкоровыми занавесками и неприятно-гулким, пружинно-скрипучим «тихим часом»... В этот день у меня всегда было плохое

настроение, я становился неразговорчивым, обидчивым, даже упрямым. Каждой клеткой своего тела я чувствовал, как от меня уходит свобода, как я становлюсь таким же, как все. Из самого умного и любимого я превращаюсь в часть коллектива, в обычную песчинку, от которой ничего не зависит, которая должна знать свое место в общей куче. Поэтому, чаще всего как раз в понедельник, из садика я убегал, выходил вдоль сухого оврага к реке и прятался там, в густых ивовых зарослях, до самого вечера. Правда, в этом случае к ощущению обретенной независимости всегда примешивалась доля страха: а что если меня поймают и приведут обратно? Что, если о моих проделках сообщат родителям?

Но зато как прекрасен был этот миг украденной свободы, как, по-своему, яркое, как томительно неповторимое. Ведь мне нельзя было попадаться на глаза никому, ни с кем нельзя было разговаривать. И в этом была своя прелесть, своя сладкая скорбь, приучившая меня к созерцательству мелочей.

А может быть, убегая из детского сада, я убегал из громкоголосой детской веселости во взрослую мудрую молчаливость. Ведь именно тогда меня посетила первая случайная тень меланхолии. Я вдруг понял, что всё видимое мной пространство временно. Это вспышка, которая не повторится. И мне захотелось запечатлеть её каким-нибудь образом. Мне захотелось выделиться из массы тех, которые не могут, которые не желают ничего замечать, которым это не нужно.

На следующий день я сказал маме, что никогда больше не пойду в детский сад. Я уже взрослый. Я вырос.

Она внимательно посмотрела на меня и, как бы по инерции, спросила:

– Почему?

– Там скучно, – кратко ответил я.

– А чем ты будешь заниматься?

– Я буду рисовать.

– Левитан какой нашелся, – улынулась она.

– Шишкин, – парировал я, инстинктивно ощущая, что в картинах этого художника мне чего-то не хватает. Некой восторженности, что ли. Некой, берущей за душу неповторимости, которую потом я назову поэзией. Старая Нянька, стоящая в это время где-то возле печи в синем халате на худых плечах, услышав мои слова, обернулась и вслед за мамой посмотрела на меня удивленными, всё понимающими глазами. Наверное, она впервые почувствовала, что её воспитанник становится взрослым. И ещё я заметил в её глазах некий ласковый свет, который относился, должно быть, уже не ко мне, а к тому человеку, которым я когда-нибудь стану, и которым она хотела бы гордиться.

И я, действительно, стал рисовать. Я грунтовал белой краской фанеру, купал плоскую кисть из щетины в душистом скипидаре, смешивал на палитре масляные краски, приятно пахнущие льняным маслом, и пытался изобразить ими на холсте то восход, то закат, то дом среди пышно цветущего сада, то одинокое дерево, стоящее в конце поля, на самой кромке горизонта. И мне казалось, что у меня уже кое-что получается. Ещё немного, и я смогу нарисовать настоящую картину, как у Репина или Саврасова.

Только эти упражнения длились недолго. Меня по-прежнему более всего занимала дружба с Сережей. Он приходил каждый день поутру и уходил только поздно вечером. Мы, как прежде, лазили по деревьям, исследовали какие-то чердаки, развалины и подвалы в поисках позабытого клада, а после обеда сидели на пологой крыше сеного сарая и наблюдали за соседской девочкой Сашей, которая полола гряды в огороде напротив и одновременно загорала. Созерцая её изящное, тонкое тело, Сережа сосредоточенно мрачнел, его глаза загорались странным внутренним светом, и я начинал угадывать в них какое-то таинственное взрослое томление. Потом это томление каким-то образом передавалось мне. Я уже почти понимал, что это значит, что есть на свете любовь, только представить себе не мог, как эта

любовь может реализоваться на деле. Ведь эта Сашенька почти что ангел, у неё невесомые светло-русые волосы, и лицо такое невинное, такое нежное, а лоб такой чистый, что разная интимная грязь к ней попросту не пристанет. Это невозможно. Я её даже в туалете представить не могу. Как это такая фифа, такая принцесса – и на горшке с голым задом? Да и не нужно мне ничего этого представлять.

Когда Сережа слишком мне надоедал, я брал кисти, воду, акварельные краски, серый альбом для рисования и прятался от своего друга за огородами, под юными елками возле оврага. Рисовал желтоцвет одуванчиков, кучерявое облако клена над уснувшим закатом, серебром струящиеся ивы, повторенные в зеркале воды. Очень хотелось уловить искру схожести со всем этим природным изобилием цветов и оттенков, приблизиться к горизонту мечты, но мои акварельные краски ложились на бумагу слишком расплывчато, облака выглядели тяжеловеснее тополей, небо – темнее леса, и поэтому разочарование приходило очень быстро. Я понимал, что многому ещё нужно учиться, что многое придет ко мне только со временем, ещё не скоро, но не собирался сдаваться. Просто остывал на время. И слегка разочарованным человеком возвращался к Сереже. А Сережа тащил меня в очередное путешествие, сопряженное с обязательным преодолением трудностей. Иногда эти самые трудности начинали казаться мне тем самым событием, ради которого всё затевается. И так без конца. Пока вдруг не кончалось лето...

Осенью я вспоминал о затерянной во ржи таинственной деревне, где в столовой продают горячие пельмени, щи со свежей капустой и сдобные булочки, пахнущие ванилью; где по стенам развешаны аппетитные натюрморты и дремучие пейзажи. В погожие дни я выходил в поле за огород и, поднявшись на холм по колкой стерне, смотрел вдаль, надеясь разглядеть на горизонте белый дым печных труб или тёмный силуэт крыши какого-нибудь здания, но ничего не замечал. Кругом было пусто, светло и возвышенно. Кругом было только бесконечное синее небо да тоненькая полоска коричневато-зелёного леса над желтеющей лентой полей... Это стало лишним подтверждением того, что ничего не повторяется в этом мире дважды, даже поход в коммунизм.

\*\*\*

Где-то в середине ноября выпадал первый снег. Он шел большими хлопьями медленно и безмолвно. Днем и ночью. А, может быть, ночью больше, чем днем. Шел, сглаживая острые углы, украшая покладистыми овалами всё тонкое и вычурное, всё неприглядное на вид. Шел, усыпляя.

Первые дни белоснежья завораживали и восторгали. Потом восторг притуплялся, и хотелось чего-то ещё более существенного, что внесло бы некое разнообразие в белое безмолвие зимы. Но ничего интересного вокруг не случалось. И постепенно приходилось привыкать к тому, что так сейчас будет всегда. Зима приучала к смирению и терпеливости. К тому, что изменить привычный порядок вещей может только Бог. Никакие усилия воли тут не помогут...

Сколько себя помню, в детской комнате на стене, как раз напротив моей кровати, всегда висела картина местного художника Самуила Дучека, написанная маслом и помещенная в красивую деревянную рамку. Зимой эта картина становилась особенно привлекательной. На картине был изображен ночной, мерцающий сквозь ветви деревьев пруд. Вода в пруду казалась коричневатой, пугающей, с торчащими из неё остатками деревянных свай, редкими кувшинками и кочками осоки. Эта картина казалась мне правдивой и сказочной одновременно. В ней было что-то притягательное и таинственное. Мне хотелось побывать в этой сказочной стране, там, где тихие летние ночи набухают яркими красками; где никогда не кончается лето и целыми ночами стоит в небе неяркий ультрамариновый свет.

Я заметил, что в разное время суток эта картина выглядит по-разному. Утром она радостная, вечером грустная, а ночью настораживающая. Что если приблизиться к ней вплотную, то можно ощутить сладковатый запах масляных красок, скипидара и чего-то ещё. Немного позднее я понял, что эта картина вызывает во мне странную ностальгическую грусть, как будто я всё это видел когда-то, прикасался к тем предметам, которые были на ней изображены, ощущал их запах. Постепенно я настолько привык к этой картине, что она стала для меня вторым окном в окружающий мир. Только это окно всегда было открыто, и за ним никогда не мелькали, изображая кривую линию, белые хлопья снега.

Однажды, движимый странным любопытством, я привстал на цыпочки, приподнял один край картины и заглянул за неё. Что там? Но, к моему изумлению, сзади картина представляла собой обыкновенный деревянный подрамник с натянутым на него холстом. Больше ничего.

Потом я заметил, что в солнечные дни коричневатые тона картины меня каким-то образом возбуждают. Что яркий свет луны, изображенный на картине в виде блестящей полоски на поверхности воды, освещает не только часть берега, часть воды, но и часть моей комнаты. То есть, картина стала выполнять для меня не просто роль интерьера, она стала частью меня самого, и поэтому в ней появилось нечто мистическое. Впоследствии, когда кто-либо отзывался о картине нелестно, мне это очень не нравилось, такого человека я не понимал и не хотел считать своим другом.

А художника Самуила Дучека я представлял себе немолодым, довольно высоким человеком с длинными тёмными волосами, с глазами полными загадочного огня. Я видел в нем натуру творческую, аристократичную, никак не связанную с реальной сельской жизнью. В моем представлении он должен был гулять где-нибудь среди высоких деревьев и цветущих трав с этюдником через плечо, в длинном черном плаще и такой же черной широкополой шляпе. Он просто обязан был выглядеть вызывающе нетрадиционно, по-особенному, как выглядят все люди, причастные к тайне творчества.

Но когда немного позднее мне пришлось увидеть его наяву, то я был сильно разочарован. Потому что легендарным для меня художником оказался небольшой лысоватый старикан в старенькой телогрейке и кирзовых сапогах, который каждый вечер приходил на пристань выпить кружечку пива и посидеть на одной лавке с местными мужиками. У него было бледное, худое, изрезанное мелкими морщинами лицо, грустный взгляд и жилистые руки. Он мало говорил, много курил, глядя куда-то вдаль, и даже когда ни с того ни сего улыбался, глаза у него оставались пронзительно грустными. Со стороны он мог показаться человеком одиноким и несчастным.

\*\*\*

Пожалуй, наравне с родителями и учителями в моем сознании жил тогда добрый дедушка Ленин из далекого села Горки, затерянного где-то в холодных подмосковных лесах, где растут вперемешку сосны и ели, где перелетают с ветки на ветку красногрудые снегири и неподвижно сидят на высоких заборах сонные, упитанные вороны. Где дети ходят в гости к Ленину, а он радушно принимает их в старинном парке, под кронами огромных деревьев. По-стариковски шепеляво беседует с ними, интересуется их проблемами.

Почему-то, когда я думал о Ленине, память моя рисовала всегда широкую аллею заснеженного парка, высокое небо с редкими зимними облаками и маленького бородатенького дедушку у подножия могучих деревьев. Дедушка Ленин в тёмном, пропахшем нафталином пальто и такой же тёмной меховой шапке. Со всех сторон его окружают маленькие дети. Дедушка Ленин беседует с детьми на правах почетного Деда Мороза, которому всё по плечу. И дети очень благодарны ему за эту беседу, как рады и благодарны ему все люди на земле

за то, что он принес им избавление. Правда, что это за избавление и от чего, я толком ещё не понимал. Зато мог запросто дорисовать эту сказку о Ленине до конца.

Я точно знал, что когда наступит зимний вечер, дедушка Ленин вернется к себе домой, растопит остывшую за день печь, как мой папа, поест картофеля с капустой и, взяв большое хозяйственное ведро с помоями, пойдет кормить прожорливого поросят. Потом даст сена быку и овцам. Потом вычистит у коровы навоз, натаскает в дом воды из колодца, и только после этого сможет вернуться к своим очень важным государственным делам. Так живем все мы. Так живут все наши соседи, все родственники. Так же, наверное, живет и дедушка Ленин...

Только много позднее я узнал, что дедушка Ленин, оказывается, давно умер, хотя и мертвый он почему-то оставался живее всех живых. Что Ленин – это образ, олицетворяющий собой всю нашу страну. Это образ Родины, с которой связано мое не такое уж далекое счастливое будущее.

Когда я научился читать и писать, я посвятил дедушке Ленину свое первое стихотворение:

*Он пришел, и все вздохнули: «Ленин!»,  
Встали и захлопали в ладоши.  
Никогда он людям не изменит  
Просто потому, что он хороший.*

Потом был дедушка Ленин в широких рамах под стеклом, взирающий на нас с высоких стен общественных зданий. Дедушка Ленин на митинге, на броневике, на первом съезде Советов. Дедушка Ленин в бронзе, в гипсе и мраморе. Дедушка Ленин – философ, экономист, политик. Дедушка Ленин – человек, муж, оратор, пароход, завод, город.

Я был влюблён в курчавого и милого мальчика Володю Ульянова, который слыл шалун и часто засыпал в кожаном кресле у папы в кабинете. Мне нравился юноша Ленин, гуляющий по волжским берегам с учебниками под мышкой и мечтающий перевернуть мир. Но в детской, ещё не замутненной никакими противоречиями, памяти всё же остался тот милый старичок, похожий на пожилого дворника. В детской памяти почему-то остался зимний вечер, великолепный парк, запорошенный ласковым невесомым снегом, высокий коридор из лип и маленький человек под этими липами, сумевший за несколько лет до неузнаваемости изменить всю Россию. Он бредет под тёмными кронами голых деревьев куда-то вдаль, такой крохотный и жалкий по сравнению с ними, такой неестественно маленький, что сердце начинает щемить от жалости к нему. И кажется, будто со стилизованных портретов смотрит на нас вовсе не он, не милый моему сердцу дедушка Ленин, а кто-то совсем другой, из которого хотели сделать божество, но немного перестарались. Переусердствовали. И получили тирана.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.